

Кристина Скрипникова

Эльфийский Двор
Чёрного Ясеня



Кристина Скрипникова

Эльфийский Двор Черного Ясеня.

«Автор»

2026

Скрипникова К.

Эльфийский Двор Черного Ясеня. / К. Скрипникова — «Автор»,
2026

Мирена привыкла к простым вещам: лопата, земля, чужое горе. Она дочь могильщика из маленькой деревни и знает одно правило — мёртвых не держат, мёртвых хоронят. Но её привозят в северный замок, где всё наоборот. Здесь эльфы триста лет забирают людей — не убивают, а держат их души в зеркалах, чтобы сохранить свою силу. Мирене не надо спасать мир. Ей надо разобраться, кто в этом замке враг, кто жертва — и кого из них наконец пора отпустить. И у неё есть тридцать четыре дня, чтобы во всем разобраться. Главы буду публиковать через день.

© Скрипникова К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог.	5
Глава 1.	8
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Кристина Скрипникова

Эльфийский Двор Черного Ясеня.

Пролог.

Мне было шесть, когда я впервые услышала, как под землёй кто-то разговаривает.

Мы жили на краю кладбища — там, где кончается освящённая земля и начинается та, которую попы обходят стороной. Отец копал там сорок лет. К сорока пяти он уже не мог спать без дёгтя. Мать говорила: от дёгтя у мёртвых плохая память. Она всегда говорила о мёртвых так, будто они — соседи, у которых можно одолжить соль.

В ту ночь отец заканчивал яму для Кравцовой старухи.

Я сидела на перевёрнутой тачке, болтала ногами в воздухе и смотрела, как он бросает глину через плечо. Комья шлёпались рядом со мной — тяжёлые, сырые, с холодом, который ещё не успел уйти в землю.

— Мирена, — сказал он, не оборачиваясь. — Не сиди над ямой. Упадёшь — тебя никто не вытащит.

— Мама вытащит.

— Она тебя не вытащит. — Он выпрямился, воткнул лопату в землю и посмотрел на меня через плечо. Взгляд у него был чужой, будто я была вещью, которую надо вернуть владельцу. — Но будет тебя слышать.

Я не поняла тогда его слов. Теперь понимаю: он знал, во что я вырасту, раньше, чем я сама.

Потом он ушёл за верёвкой.

Я осталась одна.

И яма заговорила.

Не словами.

Сначала — как вода в корнях: глухо, тягуче, снизу вверх. Потом — как чей-то выдох у самого уха, будто кто-то лёг рядом на землю и повернулся ко мне лицом.

У меня зачесались ладони. Под кожей, между костями, там, где живёт желание взять и пойти.

— Девочка, — сказал кто-то из-под земли. Голос был женский, но не мамин. — Девочка, тут темно.

Я не испугалась. Мне стало интересно.

— Тут темно, — согласилась я. — Да.

Мама выросла из темноты бесшумно, как всегда: в рубаше, перепачканной золой, с распущенными волосами, в которых застряли сухие листья.

Она не закричала.

Она никогда не кричала.

Мама ударила меня по губам — коротко, ладонью, так, что я укусила собственный язык до крови. Потом схватила за затылок, прижала ладонь к моему рту и повалила на землю так, что я почувствовала каждую травинку спиной.

Я хотела сказать, что голос не страшный, но её ладонь пахла золой и не давала раскрыть рта.

— Тише, — прошептала она мне в темя. — Тише, тише, тише.

Земля под нами дёрнулась.

Один раз.

Как человек во сне.

Мать лежала надо мной — тяжёлая, тёплая, пропахшая золой и ночной сыростью.

Я чувствовала, как у неё колотится сердце: быстро-быстро, как у загнанной птицы. Её волосы падали мне на лицо, и в них шуршали сухие листья. Ладонь она держала на моём рту — не просто прижимала, а вдавливала, так что я чувствовала вкус земли на её коже.

Я хотела спросить, кто это был. Хотела спросить, почему голос просил темноты и почему у него не было лица.

Но мать не дала.

Она держала меня, пока голос под землёй не ослаб, не расплылся, не стал опять просто водой в корнях — глухим, тягучим, без слов.

Потом она села. Медленно, будто ей было больно разгибать спину.

Светила луна. Из ямы пахло мокрой глиной и чем-то ещё, сладковатым, как прокисшее молоко.

Я села рядом и вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Слушай меня, — сказала мать. Голос у неё был ровный, а руки дрожали. — Слушай один раз и запомни на всю жизнь. Ты можешь их слышать. Это не болезнь и не благословение. Но ты никогда, никогда им не отвечаешь. Особенно этим словом.

— Почему? — спросила я.

— Потому что «да» — это дверь. — Она взяла мою руку и положила мою ладонь на землю, туда, где только что дышала могила. Земля была холодная, но под пальцами я чувствовала слабую, неправильную теплоту, будто внизу кто-то лежал и ждал. — Когда ты говоришь «нет» — ты закрываешь. Когда молчишь — ты просто стоишь рядом. А когда говоришь «да», ты открываешь, и они входят. Не в дом. В тебя.

— Она была злая?

— Она была мёртвая, — сказала мать. — Злость — это про живых.

Я долго молчала.

Луна стояла высоко, и от ямы тянуло холодом, как из погреба. Где-то за кладбищем, за рощей, за границей освящённого, послышался звон — тонкий, стеклянный, будто кто-то катал по ветвям колокольчики.

Я подняла голову.

— Мам. Там кто-то едет.

Мать посмотрела в ту сторону, и лицо у неё стало пустым, как у отца, когда он заговаривал о своих долгах.

— Не смотри туда, — сказала она тихо. — И не называй их вслух.

— Кого?

Она помолчала.

Взяла горсть земли, растёрла между пальцами и высыпала обратно, в яму. Земля посыпалась с тихим шорохом, и мне показалось, что внизу кто-то вздохнул.

— Есть Двор, — сказала она наконец. Совсем шёпотом, будто и дерево могло подслушать, будто у рощи были уши. — О котором вслух не говорят. Чёрный Ясень.

Она замолчала и посмотрела на свои руки — на землю под ногтями, на золу в трещинах кожи. Потом растёрла ладони одна о другую, словно ей было холодно.

— Не потому, что они страшные. — Она подняла глаза. — Потому что они слышат, когда их зовут. Любой Двор слышит. А этот — приходит.

— Они убили ту, под землёй?

— Нет, — сказала мать. — Той просто было темно.

Она встала — рывком, как будто земля под ней стала горячей. Отряхнула юбку, и с подола посыпались комочки глины.

Подавала мне руку.

Я взяла её.

Ладонь у матери была жёсткая, в мозолях от верёвки и печной заслонки, и я держалась за неё, как держатся за перила на темной лестнице.

— Идём. И вот что запомни, Мирена, потому что я скажу это только один раз.

Она шла быстро, так что мне приходилось почти бежать, и говорила на ходу, не поворачивая головы:

— Ты пойдёшь за одним мёртвым — из жалости, из глупости, из гордости, неважно. Все идут. И он приведёт тебя к другому. Кто бы это ни был. Кем бы он ни оказался.

— А если я не пойду?

Мать остановилась.

Резко, будто налетела на стену.

Наклонилась ко мне, и я увидела, что у неё дрожат губы — не от страха, от чего-то злее страха.

— Тогда он придёт сам, — сказала она. — И тогда ты уже не выберешь.

Она потянула меня за руку, и мы пошли дальше, мимо ограды, мимо чёрных крестов, мимо ямы, которая осталась за нами, открытой, как рот.

И всю дорогу я чувствовала спиной, что из ямы на меня смотрят. Не глазами — тяжестью. Так смотрит человек, которому ты задолжала и который не торопится напомнить.

Я не обернулась тогда.

На пороге мать обтёрла мне лицо подолом, больно, до красноты, будто стирала с меня что-то, что можно стереть.

Потом втокнула в дом и задвинула засов — хотя на нашей двери отродясь не было засова, отец прибил его той же ночью, я слышала, как стучал молоток.

Я обернулась двадцать лет спустя — в замке, где стены сложены из имён, где ночью сад говорит голосами людей, которых забирали веками, и где лорд с серебряными глазами и холодными руками однажды скажет мне:

«Ты пойдёшь со мной».

И я — впервые в жизни — не найду в себе сил сказать «нет».

Но это будет потом.

А в ту ночь я была просто девочкой с землёй под ногтями и материным страхом в груди, и я ещё не знала, что первое «да», сказанное мёртвой женщине, мне зачтётся. Что у Двора Чёрного Ясеня долги считают терпеливо.

Что они умеют ждать сотнями лет.

Глава 1.

Меня зовут Мирена, и в Кривом Броде меня не любили по трём причинам.

Первая: мой отец копал могилы сорок лет и выкопал столько, что в деревне шутили — Гаврила, мол, уже дошёл до того света и теперь копает снизу.

Шутка была невесёлая, и шутили её шёпотом, глядя на нашу ограду.

Вторая: моя мать знала травы, шептала над водой и умела останавливать кровь словом.

За это её трижды звали на суд и трижды отпускали: доказать ничего не смогли, а лечиться всё равно было больше не у кого.

Поп, говорят, тогда сказал:

«Отпустите. Пусть лечит. Бог простит» — и сам первый пошёл к ней за мазью от поясницы.

Третья причина была настоящая, и её знали все: я слышу мёртвых.

Я проснулась до утреннего света, как всегда.

Отец умер три зимы назад — упал в чужую яму, которую копал по заказу, и сломал шею о свой же заступ.

Хоронить его пришли все. На поминках никто не плакал, и я поняла, что деревня наконец-то вздохнула: теперь кладбище осталось без хозяина.

Но хозяйка осталась.

Дом у нас стоял на отшибе, за околицей, где освящённая земля уже кончалась, а ограда ещё стояла — просто потому, что столбы вкопали с запасом.

За оградой начинался бугор, на бугре — старый ясень.

Не наш, не северный.

Кора у него была почти чёрная, листья мелкие, а если сломать ветку — из излома шла не вода, а что-то вязкое, бурое, как старая кровь. Отец его не любил и обходил стороной. Мать под ним сидела.

Мать под ним и лежала теперь. Тоже без креста. Крест был, но она завещала не ставить, и я не поставила.

Я встала, натянула рубаху, накинула тулуп, надела сапоги, которые отец смазывал дёгтем перед каждым покойником, и вышла во двор.

Стоял конец октября.

Земля уже держалась — не мёрзлая, но плотная. Я притворила дверь и прислушалась: тихо.

Дом молчал.

Кладбище тоже молчало — а оно молчит не всегда.

На краю кладбища меня ждала Аграфена.

Она пришла раньше меня и стояла, переминаясь с ноги на ногу, с узелком в руках. Я видела, как тень её дёргается на траве. Она боялась не меня. Она боялась того, что у неё в узелке.

— Мирена, — сказала она, едва я подошла. — Голубушка.

— Голубушка, — повторила я.

Я не спрашивала и не подходила ближе. Я просто кивнула на узелок:

— Что там?

Аграфена поджала губы, оглянулась через плечо — сначала на кладбище, потом на дорогу, потом на бугор с ясенем.

Она молча развязала узел и высыпала на плоский камень у ограды горсть костей.

Я присела на корточки, чтобы разглядеть.

Кости были старые, тёмные, с налипшей глиной. Крупные. Не детские.

Я тронула одну кончиком пальца — и палец сразу заныл, будто я подержала его в колодезной воде.

— Копали подвал, — заговорила Аграфена быстро, глотая слова, будто боялась, что если остановится, то не решится продолжать. — Гришка копал, на задах, где баня стояла. И вот это. Там раньше, говорят, ничего не было. Ни двора, ни избы. Мы думали — скотина чья-то. А Гришка как увидел — бросил лопату и в дом, и теперь третий день с печи не слезает, трясёт его. Он, Мирена, и есть-то перестал. Я ему вчера похлёбку носила — он ложку взял и не донёс.

— И что здесь такого, — сказала я. — Кости как кости.

— Не как кости, — сказала она тихо.

Она сглотнула и оглянулась — сначала на дорогу, потом на бугор с ясенем. Потом наклонилась ко мне так, что я почувствовала запах дыма и кислого теста, и попросила шёпотом, боязливо, будто кто-то мог её услышать, кроме мёртвых и меня:

— Я знаю, что ты можешь узнать, кому принадлежат эти кости.

Я села на землю, скрестив ноги, и разложила кости на чёрной тряпице, которую всегда ношу с собой.

Тряпица была материна. Она и меня на ней учила.

Тринадцать костей: бедро, две голени, часть таза, позвонки, рёбра. Руки, кроме одной фаланги, не было. Я долго смотрела на этот пробел и не могла понять, почему его так выделяю.

Потом поняла: фалангу кто-то отгрыз. Не зверь — зверь дробит. Здесь был ровный срез.

Я взяла бедро в ладони — холодное, тяжелее, чем должно быть по весу, — и закрыла глаза.

Мёртвых нельзя звать.

Это я усвоила в шесть лет, и усвоила крепко.

Но их можно спросить.

Разница есть, и разница огромная.

Спросить — это повернуть ладонь.

Позвать — это открыть дверь и не знать, кто войдёт.

Мать говорила:

«Спрашивай так, будто ты подаёшь милостыню. Не навязывайся — и тебе ответят».

Я подержала кость и подумала вопрос: мужчина?

Кость дёрнулась в руке.

Раз.

Как будто кто-то изнутри толкнул её в сустав. Глубоко, тяжело, снизу.

Это «да».

Я никогда не спутаю. Это не как дрожь в руках от холода — это идёт снизу, от самой земли, через меня и наружу.

— Свой? — спросила я уже тихо, вслух. — Из Кривого Брода?

Тишина.

Ни движения, ни тяги, ни отдачи. Только холод, который даже не поднялся по руке, а просто стоял, как вода в ведре.

Значит, не свой. Чужой. Значит, из тех, кто тут никогда не жил, а просто оказался.

— Аграфена, — сказала я, не открывая глаз. — Он из воды.

— Чего?

— Вода, — повторила я. — Он утонул. Не река наша — река наша мелкая, тут не утопиться, тут только по колено. Озёрный это. Или из старицы. Он лежал в воде долго, а потом вода ушла, и он остался. Лежал, пока Гришка не выкопал.

Я переложила бедро и взяла позвонок. Тот был мягко-тяжёлый, будто внутри сидела земля.

Я вдавила в него большой палец — и услышала, как Аграфена рядом шумно выдохнула. Она стояла надо мной, наклонившись, и смотрела на мои руки так, будто ждала, что они сейчас отвалятся.

— Мирена... — начала она.

— Слушай сюда, — сказала я резко и наконец открыла глаза.

Аграфена отшатнулась.

— Ты его не в церкви хорони. Если в церкви — он к тебе в дом придёт. Он не злой, он просто ничей. Ничей хуже злого: злого можно упокоить, а ничей ходит, пока его кто-нибудь не назовёт. — Я пригладила тряпицу ладонью. — Хорони у ограды, с внешней стороны. Головой на север, не на восток. И скажи Гришке, чтобы в зады больше не лазил.

— А если полезет?

— Тогда пусть сначала со мной поговорит, — сказала я. — И лучше пусть сам придёт, а не ты за него.

Аграфена торопливо закивала, скребя кости обратно в узел. Руки у неё тряслись, и одна фаланга, та самая, грызеная, никак не хотела ложиться в узел — выкатывалась, как живая. Она подхватила её с земли и сунула в карман юбки.

— А за работу... — Она полезла за пазуху и вытащила два яйца и медный грош. — Больше нет, Мирена, вот тебе крест, больше нет.

Я посмотрела на грош. Он был старый, с обломанным краем, и на нём с трудом читалась буква.

— И этого много, — сказала я, забирая. — Но за грош спасибо.

Я всегда так отвечаю. Пусть думают, что я гордая. Гордость в деревне дороже денег: за гордость бояться, а за деньги презирают.

Аграфена ушла огородами, чтобы не через околицу.

Я смотрела ей вслед, пока её тень не нырнула за плетень.

От кладбища до околицы — сотня шагов, и я прошла их как всегда.

Люди расступались.

Меня не толкали, не били, не звали в суд.

Меня просто обходили.

Кузнец Пётр, здоровый мужик с ручищами, как окорок, при виде меня аккуратно отвёл взгляд в сторону колодца — так отводят взгляд от человека, которому задолжали.

Две бабы с вёдрами прибавили шагу, и вода у них плеснула через край, облив им юбки; они сделали вид, что это от ветра.

Мальчишки — те опаснее: они не боятся, они проверяют.

Один, Прошка, из-за забора кинул в меня комом грязи.

Я не пригнулась. Грязь шлёпнулась мне под ноги, и я посмотрела на Прошку ровно, без злобы.

Я вообще никогда не смотрю на них со злобой — со злобой смотрят те, кто надеется, что их начнут бояться. Я просто смотрю.

— Прохор, — сказала я. — Бабка твоя ночью к тебе приходила?

Он побелел и убежал, споткнувшись дважды на ровном месте.

Я не соврала: бабка его приходила. Я это слышала каждый раз, когда проходила мимо их дома, — тянула, тянула, как рыбак леску. Ребёнка тянула.

Ничего, перерастёт или я вмешаюсь.

Вмешаюсь — когда мне заплатят. Я не святая, я дочь могильщика.

Прошла мимо церкви. Отец Тихон стоял на паперти — толстый, розовый, в новой рясе, — и делал вид, что читает требник. Я знала, что он не читает. Я знала, что он меня ждёт.

Он ждал меня каждый день и каждый день не находил, что сказать. Книга у него была раскрыта на одной и той же странице, я это заметила ещё в прошлый вторник.

— Мирена, — сказал он всё-таки.

Я остановилась, хотя не хотела. Стала, переложив узелок из руки в руку и растянула улыбку — такую, от которой у людей портится настроение.

— Что, батюшка?

— На кладбище была?..

— Была.

— За оградой?..

— Тоже была, — ответила я и пожала плечами.

Он перекрестился мелким крестом, как от мухи, — быстро, тремя пальцами, не касаясь лба как следует. Так крестятся не от нечисти, а от того, что не хочется разговаривать.

— Не ходи ты туда, девка, — сказал он тихо. И, кажется, впервые за всё время — искренне. — Ей-богу, не ходи. Ты не понимаешь, куда ходишь.

И вот это была чистая правда, и я это знала.

Я туда ходила с шести лет и не понимала. Просто не могла не ходить. Есть люди, которые не могут не пить. Есть те, которые не могут не считать. А я не могу не слушать, как под той землёй кто-то поворачивается с боку на бок.

Я посмотрела на его рясу — новую, с блестящей тесьмой, — и на его туфли, начищенные до блеска, хотя до заутрени было ещё далеко.

— У тебя в церкви тоже мёртвые, — сказала я. — Просто они вежливые и молчат.

Он отшатнулся — на полшага, — и я пошла дальше, не оглядываясь.

Вечером я пошла к матери.

Это всегда одно и то же.

Я сажусь на корень ясеня — потому что сидеть на земле над матерью нехорошо, — подтыкаю под себя тулуп, чтобы не мёрзнуть, и говорю. Вслух.

Мать просила вслух. Сказала: шёпот мёртвые слышат хуже. Шёпот похож на ветер, а ветер они привыкли не слушать.

— Здравствуй, мам, — сказала я. — Аграфена приходила. Кости из-под бани нашла утопленника. Я ей сказала захоронить за ограду, с внешней стороны, головой на север. Ты бы сказала то же.

Ясень надо мной молчал. Листья у него облетели ещё неделю назад, а ветки остались — гнутые, чёрные, с этой их струйкой кровавого сока на изломах. Я сломала одну ветку, повертела в пальцах, посмотрела, как из отростка выступила бурая капля. Капля набухла, дрогнула и не упала. Так и висела.

— Ты мне так и не сказала, что это за дерево, — сказала я, вытирая пальцы о подол. — Говорила: не трогай. Я не трогаю. Только ветки ломаю. Про это ты ничего не говорила.

Ветер пошёл по могильному бугру — снизу вверх, от ограды, — и где-то за спиной, ниже, в освящённой части, кто-то негромко позвал меня по имени.

Я не обернулась.

Я никогда не оборачиваюсь.

Я сжала корень коленями и стала смотреть на свои руки — на дёготь в подноготной, на землю под ногтями, на старые шрамы от лопаты, которые отец научил меня не зализывать.

Правило простое: если ты не смотришь в ту сторону, тебе труднее ответить.

Мать говорила: у них нет рук, поэтому они дёргают за глаза.

Голос позвал ещё раз, уже мягче, почти породному, и в нём не было ни жалобы, ни угрозы — только просьба поднять голову.

— Нет, — сказала я вслух, негромко. — Не сегодня.

Голос ушёл. Как будто кто-то вынул его из воздуха и унёс.

Я посидела ещё немного, слыша, как стынют колени, потом встала, поправила землю на холмике — ладонью, не лопатой, чтобы не тревожить, — сходила к ручью, набрала в кувшин воды и полила мамин бугор.

Вода впиталась сразу, без лужицы. Я поправила перевернутую тачку, которая так и стояла у ямы с той ночи, и почему-то проверила, не осталось ли на ней моего детского следа. Следов не было.

Домой я не пошла. Я осталась там, у ясеня: развела тулуп под корнями, легла на бок и подтянула колени к груди.

И это-то меня и спасло бы, если бы я хотела спастись.

Потому что в ту ночь собаки замолчали.

Сначала я не поняла, что не так. Лежала, слушала и не могла уснуть — а потом поняла: не оттого не сплю, что тихо, а оттого, что слишком тихо. Как будто кто-то приложил к миру ладонь.

Кривой Брод по ночам никогда не бывает тихим: лают псы, кто-то кашляет, где-то скрипит колодезный ворот, ребёнок плачет, корова переступает копытами в хлеву.

А тут — всё.

Тишина накрыла деревню как одеяло.

Собаки не лаяли. Это разные вещи, и разницу я поняла, когда мимо ближней изгороди прошла соседская сука Бельма. Она ползла на брюхе, вжимаясь в землю, подтягивая задние лапы и оставляя за собой тёмный след на мёрзлой траве. И при этом не издавала ни звука. Даже не заскулила. Морда у неё была разинута — я видела в темноте белые клыки, — но из пасти не выходило ничего.

Вместо лая — тишина.

И в этой тишине я услышала копыта.

Копыта били по мёрзлой земле, и звук был, но не такой, как у наших лошадей, — глухой, низкий, с гулом, как если бить в бубен ладонью, а не палочкой. Ни фырканы. Ни скрипа седла. Ни звона узды. Я лежала и считала: раз, два, три — и с каждым ударом чувствовала его в корне ясеня, под лопаткой, как будто земля отбивала такт.

Я села, не поднимаясь на ноги. Так меньше заметно.

Из-за могил, со стороны освящённой земли, что-то двигалось в сторону нашей ограды.

Я все же встала с корня.

Пошла было к дому — и уже сделала три шага, — но тут из-за поворота, от реки, вышли кони.

Они были не наши.

Наших в Кривом Броде семь, и я знала их всех по мастям: рыжая кобыла Петра, буланый мерин церковный, слепая кляча Феофана.

Эти шли чёрные, с длинными хвостами без единого белого волоска, и от них не пахло. Ни потом, ни навозом, ни кожаной упряжью. Вообще ничем. Только холодом — тем же холодом, что шёл от материного ясеня, когда из ветки выступала бурая капля.

Копыта ступали по мёрзлой траве, но трава под ними не ломалась.

Впереди ехал всадник. Потом ещё шестеро, в две шеренги, чуть поотстав.

На всех были длинные чёрные плащи с высокими воротниками, и на всех — лица, которые я видела только на иконах, и там они были изображены неправильно. Кожа как мрамор, если мрамор вынести на мороз. Волосы чёрные, без блеска, и не понять, стрижены они или нет. Глаза у них были одинаковые: тёмное серебро. Я почувствовала этот цвет затылком, ещё раньше, чем увидела, — так чувствуешь чужой взгляд через стену.

Первый остановил коня в трёх шагах от меня. Конь встал как вкопанный, без натянутой узды, и не переступил ни разу. Всадник посмотрел на меня сверху, и я, дочь могильщика,

трижды вызванная в суд за слова, которые никому не нравились, не смогла сказать ни одного из них.

Он был красив. Чёрные выющиеся длинные волосы спадали ему на плечи, а из волос виднелись кончики заострённых ушей.

— Мирена, — сказал он.

Голос у него был ровный и негромкий. Такой голос не приходится повышать: его и так слышно до самого горизонта.

— Ты пойдёшь со мной.

Он сказал это слишком просто.

Я стояла и смотрела на него. В голове было пусто и при этом ясно, как перед бурей.

Я подумала: колени у меня дрожат или нет?

Нет. Не дрожат. Руки — тоже нет, только пальцы внутри рукавов сами собой сжались в кулак.

— А если нет? — сказала я.

У всадника за спиной кто-то — из тех шестерых — коротко посмотрел в мою сторону. Один поворот головы, без любопытства, как смотрят на вещь, которая заговорила. Наверное, я произнесла это с неправильной интонацией. Мирена из Кривого Брода всегда неправильно произносила слова.

Серебряные глаза не изменились.

— Тогда я возьму тебя, — сказал он. — Разница только в том, как ты будешь об этом вспоминать.

Он не угрожал. Он объяснял. И в этом было самое страшное: я слышала столько угроз от живых, что узнавала их на слух с четырёх слов. Здесь угрозы не было. Здесь просто в первый раз за всю мою жизнь мне сказали правду без обёртки.

Я переступила с ноги на ногу, чтобы ощутить под сапогами землю — нашу, плотную, октябрьскую. Земля была на месте. Это почему-то успокоило.

— Зачем? — спросила я.

— Ты слышишь.

— Все слышат, — сказала я. — Глухих мало.

— Все слышат. — Он чуть наклонил голову, и в этом наклоне было столько же вежливости, сколько в топоре, прислонённом к стене. — Но ты слышишь больше, чем простые смертные. Таких, как ты, за триста лет было четыре.

Он помолчал. Пауза у него была не как у людей — не чтобы перевести дух, а чтобы я успела подумать.

— Они все умерли.

Кони за его спиной стояли неподвижно, и я заметила, что ни один из них ни разу не моргнул.

— Нам нужна живая, — сказал он.

В этой фразе было столько честной, деловой гадости, что я почти рассмеялась. Может быть, и рассмеялась бы — я умею смеяться не вовремя, за это меня тоже не любили, — если бы в этот момент из-за его спины, со стороны кладбища, что-то не позвало меня по имени.

Низко. Тягуче.

Я вздрогнула.

Я не хотела вздрагивать, это вышло само — тело у меня умнее головы, оно всегда успевает почувствовать раньше.

Всадник всё видел. Он легонько тронул коня, конь пошёл — молча и плавно, без единого стука копыт, — и на ходу эльф наклонился ко мне. Я почувствовала воздух от него. Не запах — температуру. Как от открытой морозной двери, когда стоишь на пороге и знаешь, что за ней ещё холоднее.

И его ладонь легла мне на губы.

Ладонь была ледяная, как железо в январе. Я потом полночи буду чувствовать на губах эту отметину, как ожог, — и каждый раз, когда буду к ней прикасаться, буду вспоминать, что не отняла руку сразу.

Я окаменела.

— Не отвечай, — сказал он тихо. — Особенно этим словом.

Не потому, что он прикоснулся. Потому что это были её слова.

Мать говорила их мне в шесть лет над свежей ямой, в темноте, прижав ладонь к моему рту. Точно так. Тем же порядком. Тем же движением — не сверху, а снизу, будто затыкая колодец. И никто, кроме неё, этого мне не говорил. Никто. Я была в этом уверена, потому что все эти двадцать лет проверяла: каждого, кто хоть раз замечал, что я слушаю, каждого — я выводила на эти слова и смотрела, что он скажет. Ни один не сказал.

Я отняла его руку от своего лица — просто взяла за запястье и отвела. Мне казалось, что я хватаюсь за столб в проруби. Он позволил. Он даже не удивился. Он вообще, кажется, не умел удивляться.

— Откуда ты знаешь? — спросила я. И добавила, потому что голос хотел сорваться: — Откуда ты знаешь, как она говорила?

— Томила знала, что делала, — сказал он. — Она растила тебя правильно. Мы приходили к ней за пятнадцать лет до тебя.

— Кто — «мы»?

— Тот Двор, о котором в вашей деревне говорят шёпотом. — Он выпрямился в седле, и плащ за его спиной не шевельнулся. — Собирайся. Возьми то, что тебе нужно, но немного. Много ты не удержишь.

Я не спросила, что будет, если я откажусь.

Я не идиотка.

Я стояла и просто перебирала в голове, что взять: иглу, соль, кувшин, отцовский заступ — нет, заступ не разрешат, а если разрешат, то увидят, что я задумала. Нож. Немного хлеба. Горсть семян полыни. Соль — отдельно от всего, в узелке, потому что соль нельзя брать голыми руками у тех, кто не ест.

И ещё одну вещь, которая мне была нужнее ножа.

— Дай мне минуту, — сказала я. — Я живу тут.

Он кивнул — коротко, одним подбородком. Так кивают не в ответ, а в разрешение.

Я пошла по бугру к ясеню — не к дому. Нарочно мимо него, чтобы он видел, куда я иду, и чтобы он думал, что это и есть мой дом.

Он не остановил. Он только развернул коня и смотрел, как я иду, потому что ему было безразлично: он уже знал, что я вернусь.

Это был мой первый настоящий разговор с эльфом, и он был короче, чем разговор с бабой у колодца о том, чья корова затоптала чужую грядку.

Мне это не понравилось.

К материному холмику я подошла, считая шаги, — не потому, что верила в счёт, а потому, что за спиной был он, и я не хотела думать о нём.

Опустилась на колени.

Не села — именно опустилась, медленно, руками за траву, чтобы не сделать резкого движения. Мёрзлая трава была холодная, а земля под коленями — нет. Земля под коленями была тёплая.

И набрала горсть земли.

Она была сырая и не мёрзлая, теплее, чем воздух. Я сжала её в кулаке — до боли, до того, что глина выступила между пальцами, как тесто.

— Ну вот, — сказала я тихо. Вслух, как всегда. — Кто бы он ни был, я за ним пойду.

Ясень надо мной чуть шевельнулся, будто на него кто-то наступил.

Не ветер. Ветра не было. Листья давно облетели, и шевелиться было нечему, кроме самого дерева.

— Ты предупреждала, а я пойду, — сказала я. — Ты была права до последнего слова, мам, и это, наверное, самое поганое, что можно сказать.

Кулак начал ныть. Я разжала его, посмотрела на горсть земли в ладони — тёмная, тяжёлая, с одной белой песчинкой, — и ссыпала четверть обратно на бугор. Четверть. Брать всё нельзя: мёртвым тоже нужно на чём-то лежать. Половину — мало, не хватит на дорогу. Мать научила меня этому ещё раньше, чем словам.

Остаток я завязала в уголок платка — тем же узлом, каким она завязывала мне узелки с едой в детстве, — и сунула за пазуху, к самому телу, где тепло.

Потом я встала. Колени хрустнули. Я не стала их отряхивать — пусть на мне будет земля, — и пошла к нему.

Он смотрел на этот платок. Я чувствовала его взгляд всей кожей, всей спиной, всеми позвонками: он смотрел на маленький комочек у меня за пазухой. И серебряные глаза, которые до этого были как две монеты, на мгновение стали другими. Не мягче. Как будто человек зашёл в дом, где давно не топили, и увидел, что кто-то всё-таки закрыл окно. Так, чтобы не выстудило не до конца.

— Зачем? — спросил он.

— Чтобы было куда вернуться, — сказала я.

Мы помолчали. Где-то очень далеко, за рекой, за кладбищем, за границей освящённой земли, тихо перекликнулись колокольчики — тонко, стеклянно, по ветвям.

— Садись, — сказал он и протянул руку.

Я взяла его руку. Ледяную.

Я не вскрикнула и не отняла — я вообще не сразу поняла, что это холод, а не жжение. Я понимала, что делаю самую глупую вещь в своей жизни. Но глупые вещи, если уж они начались, доводят до конца, иначе их потом не пережить.

Он поднял меня в седло перед собой. Никто не спросил, удобно ли мне. Я уселась боком, потом перекинула ногу, потому что ехать боком по такой дороге — это сломать себе шею на первом же повороте, а я не собиралась умирать из вежливости.

Кони пошли. Мёрзлая трава под ними не ломалась.

Я ни разу не обернулась на Кривой Брод — ни на покосившуюся околицу, ни на церковь, ни на бугор с моим чёрным ясенем, ни на мамин безымянный холм. Мне казалось, что если я обернусь, то всё это перестанет быть. А может, и не казалось. Может, я просто знала, что оно и так перестанет.

За спиной, в освящённой земле, кто-то снова позвал меня по имени. На этот раз я услышала совсем ясно — голос был женский, усталый и очень знакомый. И он не тянул меня к себе.

Он меня отпускал.

Молча.

А рука, которая лежала у меня на поясе — холодная, — чуть-чуть сжалась. Один раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.